

Александр
СОЛЖЕНИЦЫН

Один день
Ивана
Денисовича



проверено
временем



Александр
СОЛЖЕНИЦЫН

ОДИН ДЕНЬ
ИВАНА ДЕНИСОВИЧА
МАТРЁНИН ДВОР
СЛУЧАЙ НА СТАНЦИИ
КОЧЕТОВКА



время

Информация от издательства

Художник
Валерий Калныньш

Солженицын, А. И.

Один день Ивана Денисовича ; Матрёнин двор; Случай на станции Кочетовка : рассказы / Александр Исаевич Солженицын ; сопроводит. статья Андрея Немзера. — М. : Время, 2018. — (Проверено временем).

ISBN 978-5-9691-2303-8

Когда в сентябре 1962 г. Лидия Чуковская спросила Анну Ахматову, читала ли она еще не напечатанную историю одного дня одного лагерного заключенного и что о ней думает, ответ великого поэта был ясен и тверд. «— Думаю? Эту повесть о-бя-зан прочи-тать и выучить наизусть — каждый гражданин изо всех двухсот миллионов граждан Советского Союза». Она выговорила свою резолюцию медленно, внятно, чуть ли не по складам, словно объявляла приговор». Сейчас — более, чем полвека спустя — ясно, что сказанное Ахматовой должно быть распространено и на два рассказа Александра Солженицына, появившиеся вслед за «Одним днем Ивана Денисовича» и крепчайше с ним связанные. В мире, где власть основана на лжи и жестокости, где их флюиды пронизывают все бытие, чудовищное зло могут творить не только прирожденные негодяи, но совестливые, честные, жаждущие справедливости люди («Случай на станции Кочетовка»). Этот мир как-то да держится лишь потому, что обретаются в нем неприметные, а то и невзрачные с виду, но истинно чистые душой люди, увидеть которых дано русскому писателю («Матрёнин двор»; первоначальное название рассказа — «Не стоит село без праведника»). Возможно, будь завет Ахматовой услышан и исполнен, страна наша и мы сами были бы несколько иными, чем сейчас.

© А. И. Солженицын, наследники, 2018

© А. С. Немзер, сопроводительная статья, 2018

© Состав, оформление, «Время», 2018

Вся правда

*Андрей Немзер*¹

Это случилось 17 ноября 1962 года. К подписчикам пришла очередная книжка «Нового мира». Одиннадцатый номер журнала открывала подборка лирики Эдуардаса Межелайтиса. За ней следовала повесть «Один день Ивана Денисовича». Имя автора абсолютному большинству читателей было неизвестно, а потому ничего обещать не могло. Ясность вносила заметка «Вместо предисловия» за подписью главного редактора самого свободного из выходящих в стране журналов поэта А. Т. Твардовского: «Жизненный материал, положенный в основу повести А. Солженицына, необычен в советской литературе. Он несет в себе отзвук тех болезненных явлений в нашем развитии, связанных с периодом развенчанного и отвергнутого партией культа личности, которые по времени, хотя и отстоят от нас не так уж далеко, представляются нам далеким прошлым <...> Читатель не найдет в повести А. Солженицына всеобъемлющего изображения того исторического периода, который, в частности, отмечен горькой памятью тридцать седьмого года. Содержание “Одного дня”, естественно, ограничено и временем, и местом действия, и кругозором главного героя повести. Но один день из жизни лагерного заключенного Ивана Денисовича Шухова под пером А. Солженицына, впервые выступающего в литературе, вырастает в картину, наделенную необычайной живостью и верностью правде человеческих характеров. Многих людей, обрисованных здесь в трагическом качестве “зэков”, читатель может представить себе и в иной обстановке — на фронте или на стройках послевоенных лет. Это те же люди, волею обстоятельств поставленные в особые, крайние условия жестоких физических и моральных испытаний»².

В заметке Твардовского ощутимы и тактические извороты советского редактора (кандидата в члены ЦК единственной

в стране всевластной партии), и напряженные внутренние противоречия истинного поэта (автора «Василия Тёркина»). Но важны нам сейчас не они, а тот простой смысл, который Твардовский хотел донести до любого человека, открывающего книжку «Нового мира» — напечатана *та самая* «повесть о лагерях», вести о которой клубились несколько последних месяцев не только в литературных кругах столицы. Дело — за вами, читайте.

Немногим ранее (19 сентября) Л. К. Чуковская спросила Анну Ахматову, «читала ли она “Один день з/к”³ и что о нем думает?

— Думаю?.. Эту повесть о-бя-зан про-чи-тать и выучить наизусть — *каждый гражданин* изо всех двухсот миллионов граждан Советского Союза.

Она выговорила свою резолюцию медленно, внятно, чуть ли не по складам, словно объявляла приговор»⁴.

Увы, «Один день...» прочитали далеко не все граждане СССР. Но масштаб события поздней осенью 1962 года ощутили весьма многие. Вот как много лет спустя, в совсем иную эпоху (1998), вспоминал о том в личном письме Солженицыну С. С. Аверинцев (в 1962-м — недавний выпускник филфака МГУ; позднее — один из крупнейших русских гуманитариев XX века): «С незабвенным выходом в свет того одиннадцатого новомирского номера жизнь наших смолоду приунывших поколений впервые получила тонус: проснись, гляди-ка, история еще не кончилась! Чего стоило идти по Москве домой из библиотеки, видя у каждого газетного киоска соотечественников, спрашивающих всё один и тот же разошедшийся журнал! Никогда не забуду одного диковинно, по правде говоря, выглядевшего человека, который не умел выговорить название “Новый мир” и спрашивал у киоскёрши: “Ну, это, где вся правда-то написана!” И она понимала, про что он; это надо было видеть, и видеть тогдашними глазами. Тут уж не история словесности — история России»⁵.

Косноязычный «человек из толпы» словно бы расслышал Ахматову, великого поэта, легитимно наследующего Пушкину,

Достоевскому и Толстому. Двести миллионов обязаны прочесть «Один день...» и выучить его наизусть (то есть, прожив с Иваном Денисовичем от подъема до отбоя, сделать его день неотъемлемой частью собственного сознания), ибо в рассказе этом «вся правда». Вся — вопреки корыстным и бессовестным указаниям советских критиков на то, что «годы, которые мы называем периодом культа личности, были весьма сложными и противоречивыми», а Иван Денисович не может «претендовать на роль народного типа нашей эпохи»⁶. Вся — вопреки тактически обусловленным замечаниям защитников рассказа (начиная с Твардовского), напоминающих о том, что нельзя объять необъятное⁷. Вся — ибо правда не знает количественных критериев.

Мы понимаем, что *все события*, произошедшие за годы большевистского владычества в России, на шестидесяти шести журнальных страницах описать невозможно. Мы видим воочию, что состоящий из семи частей «Архипелаг ГУЛАГ» обычно укладывается в три объемных тома, а четыре Узла «Красного Колеса» — в десять. Но мы знаем, что задуманные прежде создания «Одного дня...» «опыт художественного исследования» коммунистической тирании и духовного ей сопротивления и роман о революции (ставший «повествованием в отмеренных сроках») смогли осуществиться, обрести свою художественную, религиозно-этическую, историософскую полноту вследствие того, что их автором был написан рассказ об одном дне одного зэка⁸.

В «очерках литературной жизни» Солженицын рассказывает о том, как редактор отдела прозы «Нового мира» А. С. Берзер представила Твардовскому свехрискованную рукопись неведомого автора: «“лагерь глазами мужика, очень народная вещь” <...> в шести словах нельзя было попасть точнее в сердце Твардовского!» Чуть ниже Солженицын пишет: «...верная догадка-предчувствие у меня в том и была: к этому мужику Ивану Денисовичу не могут остаться равнодушны верхний мужик Александр Твадовский и верховой мужик Никита

Хрущёв. Так и сбылось: даже не поэзия и даже не политика решили судьбу моего рассказа, а вот эта его dokonная мужицкая суть, столько у нас осмеянная, потоптанная и охаянная с Великого Перелома, да и поранеe»⁹.

В интервью для Би-би-си к двадцатилетию рассказа (1982) Солженицын подчеркивал, что для появления «Одного дня...» в советской печати «нужно было стечение невероятных обстоятельств и исключительных личностей. Совершенно ясно: если бы не было Твардовского как главного редактора — нет, повесть эта не была бы напечатана <...> И если бы не было Хрущёва в тот момент — тоже не была бы напечатана. Больше: если бы Хрущёв именно в этот момент не атаковал бы Сталина ещё один раз — тоже бы не была напечатана. Напечатание моей повести в Советском Союзе, в 62-м году, подобно явлению против физических законов, как если б, например, предметы стали подниматься от земли кверху или холодные камни стали бы сами нагреваться, накаляться до огня <...> Да, и Твардовский, и Хрущёв, и момент — все должны были собраться вместе»¹⁰.

Все так. Но для того, чтобы Твардовский и Хрущёв не остались равнодушными к Ивану Денисовичу, нужно было, чтобы они его увидели. Нужно было представить в «Новый мир» именно эту «очень народную вещь». А прежде того — ее написать.

Если искать в истории русской литературы дебюты, поэтическая мощь которых сопоставима с «Одним днём...», то на ум сразу приходят «Бедные люди» и «Детство»¹¹. Аналогия соблазнительная, но с большим изъяном. Достоевский и Толстой не только написали, но и увидели напечатанными свои шедевры, не достигнув двадцати пяти лет. Солженицыну в 1958 году, когда был написан рассказ «Щ-854», исполнилось сорок. И в отличие от великих предшественников он не был «начинающим». В Марфинской шарашке (1948—1950) писалась повесть «Люби революцию» (первоначально — «История одного дивизиона»; осталась неоконченной); в Экибастузском особом

лагере устно сочинялась огромная повесть в стихах «Дороженька» (1950—1953; начата в 1947)¹²; там же и в ссылке (1953—1954) сложилась драматическая трилогия: «Пир победителей» — «Декабристы без декабря» («Пленники») — «Республика труда» («Олень и шалашовка»). К 1958 г. был завершён роман «В круге первом» (начат ещё в ссылке; позднее перерабатывался). При всех несомненных тематических, жанровых и стилистических различиях все эти вещи (исключая, и то не в полной мере, трагедию «Пленники») строятся на отчетливо автобиографической основе. Их герои (вплоть до протагониста романа «В круге первом») — «ровесники» революции, интеллигенты, семейными узами связанные с исчезнувшим докатастрофным миром, но сформированные миром новым. «Суммировав» ранние сочинения Солженицына, мы получаем своего рода «роман воспитания»: иллюзии отрочества и юности (любовь к революции и надежда на ее скорое торжество в мировом масштабе); проигнорированные или оправданные «исторической целесообразностью», но запавшие в память столкновения с советским злом; «странности» начального этапа войны; фронтовые будни, заставляющие все более трезво оценивать советскую действительность; арест, следствие и низвержение в лагерную бездну. Как это свойственно весьма многим начинающим авторам, Солженицын писал о себе, своих заблуждениях и прозрениях, своей судьбе. «Щ-854» был рассказом о *другом*.

В интервью Н. А. Струве (март 1976) писатель вспоминал: «Просто был такой лагерный день, тяжёлая работа, я таскал носилки с напарником, и подумал, как нужно бы описать весь лагерный мир — одним днём <...> достаточно в одном дне всё собрать, как по осколочкам, достаточно описать только один день одного среднего, ничем не примечательного человека с утра и до вечера. И будет всё». Гениальная догадка вспыхнула на «месте действия», когда «было безумно об этом думать. А потом прошли годы. Я писал роман, болел, умирал от рака. И вот уже <...> в 59-м году, однажды я думаю: кажется, я уже

мог бы сейчас эту идею применить. Семь лет она лежала так просто. Попробую-ка я написать один день одного зэка. Сел — и как полилось! Со страшным напряжением»¹³. Работа над рассказом заняла сорок два дня — с 18 мая по 30 июня.

В другом интервью Солженицын относил замысел не к 1952, а к 1950 году¹⁴ — допустимо предположить, что мысль о рассказе приходила к каторжанину не раз. Существенно, однако, что в обоих случаях сильное композиционное решение («один день») подразумевает особого рода героя. В 1982 году об этом говорится подробнее: «Ивана Денисовича я с самого начала так понимал, что не должен он быть такой, как вот я, и не какой-нибудь развитой особенно, это должен быть самый рядовой лагерник. Мне Твардовский потом говорил: если бы я поставил героем, например, Цезаря Марковича, ну там какого-нибудь интеллигента, устроенного в конторе, то четверти цены бы той не было. Нет. Он должен быть самый средний солдат этого ГУЛАГа, тот, на кого всё сыпется»¹⁵.

Дело, однако, не сводится к тому, что в герои «полного» повествования о лагере не может быть взят «привилегированный» зэк. Каковы бы ни были личные человеческие качества того или иного «конторщика», жизнь их устроена существенно иначе, чем у вкалывающего на «общих» большинства. Но ведь замысел «Одного дня...» возник у выпускника университетского физмата, бывшего офицера, бывшего шарашечника, не оставляющего мысли о писательстве, когда он носилки таскал! Как таскают их однобригадники Ивана Денисовича — бывший «начальник» Фетюков и бывший кавторанг Буйновский. «Не придурок» — условие для выбора героя *необходимое*, однако *счесть* его и *достаточным* было бы серьезной ошибкой. «Станным образом, героя я взял — фамилию и наружность — своего солдата из батареи, вовсе не зэка, он никогда в лагере не сидел <...> А биографию я уже брал от других и все события жизни еще от третьих, от четвёртых». Шухов, по свидетельству его создателя, «образ собирательный»¹⁶, но это вовсе не означает «безликий» или

«усредненный». Ощутимая с первых строк и становящаяся по мере движения рассказа всё более ясной индивидуальность героя сложно соотнесена с его «анкетными данными». Шухов — разменявший пятый десяток русский крестьянин (мужик), что до войны из своей деревни Темгенёво не выбирался, на фронте был рядовым, а в лагерях мается без малого восемь лет.

Возраст героя упоминается дважды. В первый раз: «Шухов же сорок лет землю топчет...» — но, похоже, во внутренней речи героя возраст естественно округлился. Ниже говорится, что бригадир, называющий Шухова и Кильдигса «ребятами», «был не старше их». Бригадиру, согласно его рассказу, в 1930-м было двадцать два года, следовательно, родился он в 1908-м, в начале 1951-го (время действия) ему 42 года. Не так уж важно, родился Иван Денисович в 1908-м или в 1911-м, — он должен помнить дореволюционную жизнь (хотя бы смутно) и помнит, как «побез-колхозов» ели в деревне «мясо — ломтями здоровыми» и какой у него был мерин, в колхозе быстро сгинувший. Он знает, что живет под чужой властью — жестокой, жадной, глупой. Хоть в деревне, хоть на фронте, хоть в лагере.

Не на каторге Шухов усвоил: «для людей делаешь — качество дай, для начальника делаешь — дай показуху». И в размышлениях его о том, как идет теперь жизнь в родной деревне, искреннее недоумение (мужики «живут дома, а работают на стороне») не отменяет верного взгляда на суть происходящего — «видит Шухов, что прямую дорогу людям загородили, но люди не теряются: в обход идут и тем живы». Передавая думки шагающего на объект Шухова, Солженицын играет на тонких семантических различиях близких глаголов: «жизни их не поймешь», «никак не внять», «и не понять никак» и, наконец, «этого он не может принять». Главное про свою и других обычных людей жизнь Шухов отлично понимает (если что и меняется в ней, то либо для видимости, либо к худшему), «вникать» в придумки начальства ему незачем (коли есть у тебя «добрые руки», то «верную работу» найдешь), а вот «принять» этот извращенный мир Иван Денисович не может. Потому что, кроме страшного социального опыта загнанного в колхоз

мужика, солдата-окруженца, вырвавшегося из плена, чтобы быть назначенным в «шпионы», доходящего в Усть-Ижме зэка, пронумерованного каторжанина, есть у Шухова и иной опыт — опыт свободного человека, просто и твердо различающего добро и зло, умеющего и любящего работать, изначально расположенного к другим и понимающего, что люди — разные, не теряющего собственного достоинства.

Это Шухов-то? Шухов, что, закосив две миски, ждет, когда помбригадира дозволит ему из одной кашу выскрести. Бежит занимать Цезарю очередь за посылкой. Почтительно благодарит Татарина, когда тот милостиво его «прощает» — не загоняет в карцер, а велит всего лишь пол вымыть. Ломает перед надзирателями шапку, а то и за угол прячется, чтоб на глаза не попасться. Сгоняет в столовой с места двух доходяг. Выцыганивает поднос, который был обещан другому. Покрикивает за работой на подносчиков и костыляет в спину заленившегося (обессилевшего) Фетюкова. Вместе со всей толпой зэков готов разорвать не поспевшего к выходу из рабочей зоны молдавана, забыв, что совсем недавно точно так же и ровно за то же готовы были расправиться с ним и Сенькой Клевшиным. Не разделяет праведный гнев кавторанга на разводе. Посмеивается над непонятно лопочущими москвичами. Не благодарит Господа, когда исполнилось по его молитве, — не заметил надзиратель спрятанную в рукавице ножовку. Хуже того, объясняет Алёшке: «сколько ни молись, а сроку не скинут». «От работы лошадидохнут». «Особый — и пусть он особый, номера тебе мешают, что ль? Они не весят, номера». «Двести грамм жизнью правят». Это ведь все тоже мудрость Ивана Денисовича. И разве не страшен его ответ на вопрос, что и вопросом-то для Шухова быть перестал: «Кто арестанту главный враг? Другой арестант».

Кто сказал «а», должен сказать «б», то есть: «Подохни ты сегодня, а я завтра!» Но мысль Шухова идет совсем в другую сторону: «Если б зэки друг с другом не сучились, не имело б над ними силы начальство». А бесчеловечное «правило» вспоминается именно в том эпизоде, где приобыкший к лагерю

мужик пожалел «богатого», но бестолкового умника-москвича. «Не заработать ещё от Цезаря хотел, а пожалел от души». *Трижды* звучит это слово, отменяющее норму «зверохитрого племени». Ох, не случаен здесь этот эпитет! Как не случайно, что здесь же Иван Денисович называет месяц «волчьим солнышком» — и выходит из первых «греться» на донимавший его весь день мороз. Зачем? А он первым после поверки вскочит в барак, чтобы сбересть «беспризорную» посылку (еду!) соседа.

«Если б зэки друг с другом не сучились...» В усталом вздохе разом слышны недоверие к прекраснодушной мечте и глубинное знание о том, что в несбыточной мечте — ответная правда. Сходное «двоящееся» чувство завладевает Шуховым и раньше (сцена строительства): «Безотказный этот Алёшка, о чём его ни попроси. Каб все на свете такие были, и Шухов бы был такой. Если человек просит — отчего не пособить? Это верно у них».

«У них» — у баптистов. О том, что Алёшка верующий, получил за то двадцать пять лет, а лагерь с него «как с гуся вода», мы уже знаем. Спор Алёшки с Шуховым впереди. Но ведь «верно» ведет себя не только уповающий на Бога Алёшка. Как Иван Денисович пожалел Цезаря даже и без его просьбы, так Сенька Клевшин дожидается Шухова, пока тот заначивает свой мастерок (решает «личную проблему»). «Никогда Клевшин в беде не бросит. Отвечать — так вместе».

Шухов, Алёшка, Сенька Клевшин и многие другие зэки в лагерном аду остаются людьми, сохраняют высокие (или просто нормальные?) душевные свойства — способность сострадать другому и понимать его, верность национальному чувству (особенно выразительно явленная «братьями»-эстонцами), трудовую этику (понимаемую Кильдигсом, кавторангом, Павлом весьма по-разному, но во всех «изводах» вызывающую уважение), глубинное неприятие наличествующего — долгие-долгие годы — бесчеловечного уклада. («Комический» бунт ратующего на разводе за «законность» кавторанга, без сомнения, противопоставлен печально-ироничной трезвости Шухова и других опытных

зэков, но оттого единство нравственного чувства глубоко различных персонажей не исчезает; к «шакалу» Фетюкову брезгливо относится не только привыкший начальствовать кавторанг, но и — в большей части рассказа — Иван Денисович.) Наше сочувствие отменно ориентирующемуся в лагерном пространстве бригадиру Тюрину и наивно лезущему на рожон кавторангу, замкнутым друг на друга «братьям»-эстонцам и не устающему смеяться над советской глупостью Кильдигсу, глухому бедолаге Клевшину и «удачнику» Цезарю, терпеливцу Алёшке и плутоватому Гопчику обусловлено не только тем, что они лишены свободы, оторваны от родных, обречены на голод, холод, унижения, изнурительный (и часто бессмысленный) труд, провоцируются всем лагерным (и не только!) «порядком» на расчеловечивание. Десятнику Дэру, Хромому, Шкуропатенко, старшему бараку («вот еще сволочь старшая»), стукачу Пантелееву и еще много кому мы не сочувствуем. Ибо всех насельников лагеря видим глазами Шухова, которому крепко запомнились слова его первого бригадира, Кузёмина:

«— Здесь, ребята, закон — тайга. Но люди и здесь живут. В лагере вот кто поддыхает: кто миски лижет, кто на санчасть надеется да кто к куму ходит стучать.

Насчёт *кума* — это, конечно, он загнул. Те-то себя сберегают. Только береженье их — на чужой крови».

Наставление Кузёмина возникает в самом начале рассказа. И хотя правила «старого лагерного волка» сразу прирастают усмешливой и грустной оговоркой, суть их остается в силе. Позже мы узнаем, сколь опасен соблазн санчасти (останься заболевающий Шухов в зоне «на свой страх», попал бы он в БУР, где едва ли бы перемогся). Узнаем, что «шакал» может вызвать сострадание: вопреки презрению к Фетюкову, приступы которого вспыхивают у Шухова весь день, увидев вечером побитого «за миски» собригадника, Иван Денисович думает: «Разобраться, так жаль его. Срока ему не дожить». Узнаем: «береженье на чужой крови» теперь чревато кровавым возмездием, что Шухова удивляет («Такого в бытовых не было. Да и здесь-то не было...»), но не страшит, хотя знает он, что

мстители зарезали и «работягу невинного — место, что ль, спутали». Кто застрахует Ивана Денисовича или иного честного работягу (да хоть бы и «придурка») от подобной ошибки? Но — в отличие от Фетюкова — Шухов этой опасностью не встревожен. И к убитым жалости не испытывает, словно бы принимая формулировку Павла: режут «нэ людын, а стукачив». Всё же «словно бы»: прямо ничего подобного в думках Шухова не отмечается, но ведь и спора он не затевает. Может, и есть у него какое-то сомнение (у автора оно, безусловно, есть!), но важнее ощущение черты, здесь и сейчас отделяющей людей от нелюдей. Жизнь (в том числе лагерная) не укладывается в сколь угодно проверенные правила, но и не может обойтись без ясного различения добра и зла. Считай Иван Денисович, что все зэки волки, не смог бы он (а за ним — мы) различать неповторимые лица тех, кто его окружает. Шухов — различает. И видит за лицами — судьбы, из которых по ходу рассказа, словно бы сама собой, складывается трагическая история революционной России.

За ужином Иван Денисович, которому вроде бы ни до чего сейчас нет дела, все же замечает высокого старика Ю-81. И тут же невольно припоминает: «Об этом старике говорили Шухову, что он по лагерям да по тюрьмам сидит несчётно, сколько советская власть стоит, и ни одна амнистия его не прикоснулась, а как одна десятка кончалась, так ему сразу новую совали». Так мы узнаем и о неизменности советской системы, и о духовном сопротивлении несломленного человека, выделяющегося среди пригорбленных лагерников сохранившейся прямизной спины. «Лицо его всё вымотано было, но не до слабости фитиля-инвалида, а до камня тёсаного, тёмного. И по рукам, большим, в трещинах и черноте, видать было, что не много выпадало ему за все годы отсиживаться придурком. А засело-таки в нём, не примирится: трёхсотграммовку свою не ложит, как все, на нечистый стол в роспесках, а — на тряпочку стираную».

Вслушивается Шухов в медленный рассказ бригадира Тюрина, в который вместились коллективизация (высылка

кулацких семей, исключение из нормальной жизни кулацких детей), «кировский поток», ликвидация тех, на ком долго держался режим, в ходе Большого террора («Перекрестился я и говорю: “Всё ж Ты есть, Создатель, на небе. Долго терпишь, да больно бьёшь”»).

Судьбы Павла и Гопчика — свидетельства украинского сопротивления большевикам. Судьбы Кильдигса, торгующего табаком прижимистого латыша, «братьев»-эстонцев — свидетельства «зачистки» аннексированных балтийских государств. Узник Бухенвальда Сенька Клевшин представляет за военнопленных, которым удалось выжить в нацистских лагерях, «бывший Герой Советского Союза», залезший на столб, чтобы разглядеть показания термометра, — за офицеров, освободивших Россию и Европу, но не успевших стать «декабристами», кавторанг — за тех, кому досталось во время войны иметь дело с союзниками, теперь назначенными ответными лютыми врагами¹⁷, Цезарь — за «космополитическую» интеллигенцию... «Один день...» втягивает в себя не только шуховскую десятку, не только историю закрепощенного советского крестьянства (беглые, к случаям всплывающие, воспоминания Ивана Денисовича и письма из деревни Темгенёво), но — повторим и подчеркнем — всю «подсоветскую» историю.

Увидели бы мы эту историю в такой полноте и достоверности, избери Солженицын другого героя? Нет, не увидели бы. Как не видят Шухова с миской каши в руках Цезарь Маркович и (ровно так же!) «двадцатилетник, каторжанин по приговору, жилистый старик» — похоже, убежденный противник режима — X-123, спорящие о фильме Эйзенштейна «Иван Грозный». У каждого из них своя мысль и стоящая за ней «картина мира». Как и у кавторанга, мучительно обживающегося в лагере. Как у латышей, эстонцев, украинцев и других «националов» (они попали в абсолютно чужое пространство и, естественно держась друг за друга, столь же естественно, по возможности, игнорируют все

«здешнее»). Как у «шакала» Фетюкова, тщащегося выжить любой ценой. Как у бригадира Тюрина, что в «доброй душе» может, почти не обращая внимания на слушателей, рассказать «как не о себе». На самом деле — именно о себе, давая себе редкий роздых от многолетней — заставляющей выть по-волчьи — бригадирской колотыбы. Как у Сеньки Клевшина, у которого отбит слух (что, разумеется, не случайная деталь, а скрытый символ), возвращающийся к нему лишь в экстремальной ситуации (когда прибегающих последними на построение Шухова и Клевшина встречает остервенелое улюлюканье пяти сотен эков). Как у Алёшки, отрешившегося от всего мирского, до конца вверившегося Богу. Конечно, все они (кто больше, кто меньше) временами «видят» Шухова (Цезарь вовсе не плохо относится к услужливому Денисычу), но иначе, чем заглавный герой рассказа каждого из них. Конечно, каждый из «второстепенных» персонажей «Одного дня...» мог бы стать протагонистом другого рассказа, но именно что *другого* — рисующего «отдельную» человеческую судьбу и, возможно, стоящую за ней историю конкретной социальной, национальной, возрастной группы. Но никак не общую нашу историю.

Мужицкая неприметность Шухова органически сопряжена с его *приметливостью* — основанной на долгом (не только лагерном) опыте, трезвой, часто усмешливой, но основанной на уважении к другим (совсем не похожим на Ивана Денисовича!) людям, на скрытом знании о великой ценности всякого человека, покуда теплится в нем что-то человеческое. Благодаря Шухову мы видим живых людей, а не нумерованных рабов. И каждое живое человеческое лицо становится обвинением той системе, которая с момента своего возникновения ни во что ставит именно личность человека, его неповторимость, его свободу.

«Уж сам он не знал, хотел он воли или нет. Поначалу-то очень хотел и каждый вечер считал, сколько дней от срока прошло, сколько осталось. А потом надоело. А потом

проясняться стало, что домой таких не пускают, гонят в ссылку. И где ему будет житуха лучше — тут ли, там — неведомо.

Только б то и хотелось ему у Бога попросить, чтобы — домой.

А домой не пустят...»

Эти размышления Шухова навеяны его вечерним спором с благословляющим узническую судьбу Алёшкой: «Что тебе воля? На воле твоя последняя вера терниями заглохнет! Ты радуйся, что ты в тюрьме! Здесь тебе есть время о душе подумать». Иван Денисович не может проникнуться Алёшкиной верой (за что его в нынешние времена кое-кто готов строго корить, как когда-то корили за то, что он в лагере «не борется»). Но правду Алёшки он слышит. И эта правда парадоксальным образом не противоречит стремлению Ивана Денисовича домой, пусть и «колеблющемуся» (этот мотив возникает в рассказе и раньше) грустным признанием силы господствующего «порядка». Не противоречит, ибо за «частными» правдами двух несхожих терпеливцев стоит правда общая — предназначенность человека свободе. И совсем не случайно, что дневные раздумья Шухова о «выворотном» законе, о нынешних двадцатипятилетних сроках, о возможности получить новую десятку или ссылку разрешаются не слышным окружающим, но истовым возгласом: «Господи! Своими ногами — да на волю, а?»

Нет, не все поминает тут Шухов Господа. И похоже, обращения к Всевышнему (это вспыхнувшее перед шмоном: «Господи! Спаси! Не дай мне карцера!» и вечернее, что подвигло Алёшку на проповедь: «Слава тебе, Господи, ещё один день прошёл!») перевешивают забывчивость Денисыча после счастливого завершения обыска («и не помолился ещё раз с благодарностью, потому что некогда было, да уже и некстати») и его тяжелые «атеистические» аргументы в споре с Алёшкой.

Когда в предпоследнем — знаково выделенном пробелами — абзаце рассказа Иван Денисович засыпает «вполне удовлетворенный», в его сознании (и перед нами) всплывают удачи прошедшего дня — «отрицательные» (трижды миновали грозные опасности да еще «и не заболел, перемогся»)

и «положительные» (здесь уравниены «материальные» прибитки — закошенная каша, подработка у Цезаря, сходно купленный табак и радость работы — «стену Шухов клал весело»). Невозможно не слышать в этом перечне и венчающем его выводе — «Прошёл день, ничем не омрачённый, почти счастливый» — горькой иронии. Но невозможно не слышать здесь и другого — благодарности, приятия жизни, незапланированного ответа на то отчаяние (уже «забытое» Шуховым), что охватило его отнюдь не в самый страшный миг уходящего дня — при задержке в рабочей зоне: «Пропал вечер!.. Молдаван проклятый. Конвой проклятый. Жизнь проклятая...» Проклятая. Но не только.

И не только набатное обвинение всем палачам и их подручным (от батьки усатого до ссучившихся зэков) звучит в последних строках рассказа, где усмешливое «счётно-календарное» уточнение (отдельной строкой) вновь усиливает наш ужас, наше сострадание мученикам, нашу выматывающую мысль о неизжитом по сей день прошлом.

«Таких дней в его сроке от звонка было три тысячи шестьсот пятьдесят три.

Из-за високосных годов — три дня лишних набавлялось...»

Здесь ведь, кроме иного прочего, сказано, что Иван Денисович Шухов *победил* «всесильную» советскую систему. Он пошел своими ногами на волю (всего скорее, как и автор рассказа, в ссылку). Сохранив — поручкой чему всё, что мы о герое Солженицына знаем, — чувство человеческого достоинства, уважение и сочувствие к другим людям, трезвый взгляд на жизнь и «предлагаемые — бесчеловечные — обстоятельства», «привычку к труду благородную», неодолимую тягу к свободе.

Как один день Шухова намеком открывает нам «дни» других зэков (и всей страны), так его победа («тихая», введенная в повествование под сурдинку, но в финальной — то есть сильно маркированной — позиции) знаменует возможность сбережения души в черном пространстве постоянного насилия, тотальной лжи, систематичного растления, насаждения волчьих

законов. Рассказ «Щ-854» (будущий «Один день Ивана Денисовича») уже содержал в себе ту мысль, что определила строй рассказа «Не стоит село без праведника» (будущий «Матрёнин двор»).

Потому не удивительно, что, едва завершив историю мужика, попавшего в лагерь (писался 18 мая — 30 июня 1959), Солженицын принялся за историю крестьянки, чья жизнь прошла «на воле» (начата на рубеже июля-августа 1959, закончена в декабре). Естественно, что именно этот рассказ был предложен редакции «Нового мира», решившейся бороться за публикацию «Одного дня...» (обсуждение прошло 2 января 1962 года и закончилось признанием невозможности публикации). Понятно, почему в ноябре, когда лагерный рассказ получил высочайшее «добро», главный редактор «Нового мира» переменял решение: «Такова была сила общего захвала, общего взлёта, что в тех же днях сказал мне Твардовский: теперь пускаем “Матрёну”! “Матрёну”, от которой журнал в начале года отказался, которая “никогда не может быть напечатана”, — теперь лёгкой рукой он отправлял в набор, даже позабыв о своём отказе тогда»¹⁸. Удивительно другое: Солженицын счел необходимым срочно написать еще одну вещь и поместить ее между «Одним днем...» и «Матрёниным двором»: «Два рассказа» в январской книжке «Нового мира» открывались «Случаем на станции Кречетовка»¹⁹.

Зачем было так спешить? Разбивать гармоническое единство «народных» рассказов историей с иным центральным героем и зримо иной повествовательной стратегией? «Дробить» читательские впечатления? Был тут риск — и немалый. Солженицын на него пошел. Сказывались тут, разумеется, и причины «внешние». Всякий писатель (и тем более тот, что долгие годы пребывал в вынужденном «затворе») хочет представить публике свою последнюю (сейчас родившуюся) вещь. (Но тут ведь новый вопрос встает: почему в победные дни потребовалось писать «Случай...»?) Понятно и желание не «раствориться» для читателей в одной «теме», пусть даже

«народной». (Между тем что-то подобное произошло — несмотря на публикацию «Случая...» и особую значимость в «Матрёнинном дворе» линии Игнатъича, кажется, не вполне оцененную первыми восхищенными читателями рассказа.) Наконец, по мемуарам писателя мы знаем, что находившийся в конце 1962 года на вершине славы Солженицын предполагал, что, скорее всего, официальное признание будет недолгим, что доступ к читателю ему перекроют. Всё так. Но важнее тактики, на наш взгляд, была стратегия. Иначе говоря — внутренняя необходимость произнести именно это *слово*. Не «еще одно», а качественно новое и в то же время позволяющее читателю увидеть объемнее рассказы о народном мире, его продолжающемся в советском мраке бытии, безвестных (и словно бы обреченных безвестности) праведнике и праведнице.

Как невозможно было Солженицыну выйти из подполья с чем-либо, кроме истории мужика, загнанного в лагерь, так не мог он продолжать выговаривать *всю правду*, обминув трагическую вину своего поколения и социального круга, вину, причастность к которой остро чувствовал он сам.

Выше говорилось, что к «Одному дню...» Солженицын пришел далеко не сразу, но после многих опытов воссоздания словом отчетливо автобиографического материала, насыщенных напряженной и горькой рефлексией. В свой звездный час он вернулся к этой, глубоко личной, но очень многих касающейся теме. Много проще было остаться *только* апологетом Ивана Денисовича и Матрёны, мудрым и свободным художником, заново открывшим народный мир, во весь голос сказавшим о народном горе. Солженицын легких путей не искал. И читателям своим, проникшимся искренним сочувствием к мученикам лагеря и колхоза, не предлагал. Перед своими сверстниками, теми, кто был причастен к победе над нацизмом, не сгинул в тюрьмах и лагерях, дожидаясь до тех вершинных лет, когда человек может и должен обрести свой истинный масштаб, а с ним и ответственность за всё происходящее (до пятого десятка), писатель поставил зеркало.

В зеркале отразилось лицо помощника коменданта станции Кочетовка.

«Раз-берутся и с вашим Тверикиным. У нас брака не бывает». У следователя, отвечающего на боязливый вопрос, нет ни внешности, ни фамилии, ни характера, ни возраста. Только инстинкт «значительно» хмуриться, осаживая нездоровое любопытство («А почему вы спрашиваете?»). Разбирается с несомненным врагом не он, а могучая, не знающая сбоев система. Неопределенно-личная конструкция уверенной реплики следователя страшно вторит обобщенно-личному восклицанию обреченного: «Ведь э т о г о н е и с п р а в и ш ь!!» У лейтенанта, который «задержал» человека «с такой удивительной улыбкой», есть и лицо, и характер, и возраст, и жизненный путь (короткий), и имя с фамилией. Потому и помнит Вася (Василий Васильевич) Зотов, что «разобрался» он за несколько дней до октябрьской годовщины не с каким-то безликим Тверикиным, а с Игорем Дементьевичем *Тверитиновым*. Разобрался в меру своей компетенции, предоставив дальнейшее той «общности», у которой брака не бывает. Быть не может. По определению.

Потому что Вася Зотов родился и вырос «в лучшей из стран — стране, уже прошедшей все кризисы истории, уже организованной на научных началах разума и общественной справедливости. Это разгружало его голову и совесть от необходимости защищать несчастных и угнетённых, ибо таковых не было». Потому что владеет лейтенантом великое чувство: «вот — м ы, мы, Семнадцатый и Восемнадцатый годы рождения, — что за грозное-великое нам выпадает?! Но — и мы же готовы к нему. Так несчастно (при том, что выше сказано об удаче со временем и местом рождения! — *А. Н.*) — уже после революции, не захватили её даже детской памятью, не то что участием. А всегда было это ощущение: предстоящего великого боя, который разрешится только Мировой Революцией, но прежде их поколению надо лечь, всем полечь, готовиться всем погибнуть, и в этом сознании были и счастье и гордость. *Всему* поколению — лечь не жалко, если по костям

его человечество взойдёт к свету и блаженству». Вася Зотов думает и чувствует именно так, хотя цитируется здесь не «Случай на станции Кочетовка», а писавшаяся в 1948 году на Марфинской шарашке (спецтюрьме, увековеченной позднее романом «В круге первом») оставшаяся неоконченной повесть с названием «Люби революцию»²⁰. Ее протагонист Глеб Нержин максимально сближен с автором, каким тот был перед Великой войной и в ее начальную пору. «Нержинским» (то есть своим!) эмоциональным и интеллектуальным складом наделяет Солженицын лейтенанта Зотова²¹. Ибо речь тут идет о самоощущении если не всей новой — советской — интеллигенции, то *лучших* (к чему мы еще вернемся) ее представителей. С оговоркой, что могли они быть и несколько моложе.

Девятнадцатый год рожденья —
Двадцать два в сорок первом году —
Принимаю без возраженья,
Как планиду и как звезду.
Выхожу, двадцатидвухлетний
И совсем некрасивый собой,
В свой решительный и последний,
И предсказанный песней бой.

Поэт, прошедший войну, но, по счастью, избежавший лагеря, моложе Солженицына на полгода. Стихотворение «Сон», инкрустированное цитатами из Маяковского и «Интернационала», было впервые опубликовано в 1956-м²².

Вспоминает другой фронтовик (он моложе Солженицына на три года с малым) — великий историк (не одной лишь русской литературы) и теоретик культуры. «Как сейчас помню — не помню только, кто их сказал, я или Борька Лахман, — слова: “Тогда никому не придет в голову считать, кто троцкист, а кто бухаринец, а все будут солдаты на фронте”. А поскольку всем было ясно, что после испанской войны будет большой фронт, испанскую войну мы переживали как что-то непосредственно наше — я помнил названия сотен пунктов, места сражения Интернациональной бригады. <...> Мы с Борькой даже

попробовали пробраться в питерский порт (откуда тогда корабли отправлялись в Испанию), чтобы пролезть в трюм и удрать. Но нас, конечно, поймали и, подвергнув тщательному допросу (бдительность!), все же с миром отпустили»²³. В отличие от Васи Зотова, Лотман в 1937 году знал не только о войне в Испании, но и о Большом терроре. Борька Лахман — сын расстрелянного «врага народа», его мать и совершеннолетняя сестра отправлены в ссылку. Эти обстоятельства не колеблют ни отношения к нему Лотмана («лучший друг»), ни их общего радостного ожидания большой войны (на ней Лахман погибнет), ни рывка в Испанию (старший тремя годами персонаж Солженицына обдумывал сходный план, но, сочтя его «мальчишеством», действовал иначе — впрочем, столь же наивно и безуспешно).

Ко времени создания «Случая на станции Кочетовка» уже были опубликованы (и снискали закономерный успех) повести Юрия Бондарева «Батальоны просят огня» (1957) и «Последние залпы» (1959) и повести Григория Бакланова «Южнее главного удара» (1957) и «Пядь земли» (1959). Чем хуже лейтенант Зотов мужественных и трогательных героев «лейтенантской прозы»? Да ничем! Тот же идеализм, то же чувство личной ответственности за общее дело, та же вера в конечное торжество справедливости во всем мире, за которое должно жертвовать собой. Только изображен Вася не в том положении, что персонажи Бакланова и Бондарева, — не в конце много чему научившей вчерашних юнцов войны, а в ее ошеломительном, «невероятном», страшном начале, не на передовой, а в тылу, лицом к лицу не с реальным врагом, а с обычной жизнью, вдруг оказавшейся совсем не такой, какой виделась она «мальчишкам с луны» (так назвал Солженицын первую главу исповедальной поэмы «Дороженька»). Совсем нетрудно представить себе Зотова боевым командиром, выполняющим свой долг так же достойно, как весьма многочисленные его сверстники. И тут же задаться тяжелым вопросом: сколько таких лейтенантов (рожденных революцией, не щадивших себя на войне,

с любовью запечатленных в прозе конца 1950-х), окажись они в зотовской ситуации, повели бы себя иначе, чем близорукий помощник военного коменданта станции Кочетовка? И если кому-то из них судьба не подбросила столь страшного искушения, если их нравственные сбои не так дорого стоили, то чья тут заслуга? Разумеется, любое поколение составляют *разные* люди, но типичность Зотова акцентирована весьма жестко — введением в текст рассказа «двойника» незадачливого героя.

«Недавно, по дороге сюда, Зотов прожил два дня в командирском резерве. Там был самодеятельный вечер, и один худощавый бледнолицый лейтенант с распадающимися волосами прочёл свои стихи, никем не проверенные, откровенные. Вася сразу даже не думал, что запомнил, а потом всплыли в нём оттуда строчки. <...> — Зотов повторял и перебирал эти слова, как свои:

Наши сёла в огне и в дыму города...
И сверлит и сверлит в испугленьи
Мысль одна: да когда же? когда же?! когда
Остановим мы их наступленья?!

И ещё так, кажется, было:

Если Ленина дело падёт в эти дни —
Для чего мне останется жить?

Тоже и Зотов совсем не хотел уцелеть с тех пор, как началась война. Его маленькая жизнь значила лишь — сколько он сможет помочь Революции. Но как ни просился он на первую линию огня — присох в линейной комендатуре».

Кто этот «худощавый бледнолицый лейтенант»? Буквально считанные читатели рассказа (самые близкие Солженицыну люди) могли распознать здесь автопортрет. Лишь после публикации «Люби революцию» стало ясно, что заморожившие Зотова стихи принадлежали автобиографическому герою этой неоконченной повести (проще же говоря — ее автору), а «планы» Зотова отступать хоть на край земли, чтобы «там